

ТРИ ЮБИЛЕЯ

И. Айзеншток

(ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ)

I

Ежедневно, разворачивая газету, мы сталкиваемся с широкой, кипучей подготовкой к пушкинским дням, подготовкой, захватившей отдаленнейшие окраины нашей необъятной родины. Камчатка и Белоруссия, эвенки и ненцы, грузины и таджики, — все с равным энтузиазмом и творческим подъемом готовятся к годовщине, которой суждено стать невиданным доселе празднеством советской культуры, утверждением ее теснейшей связи и преемственности с культурным наследием прошлого.

В Оренбургской степи, в станице Берди, которую посетил Пушкин осенью 1833 года, собирая материалы о пугачевском восстании, сельсовет, специально обсуждавший вопрос об увековечении памяти Пушкина,

„решил на доме, где останавливался поэт, повесить мемориальную мраморную доску, провести силами местных педагогов беседы о Пушкине в колхозных бригадах, организовать большую библиотеку-читальню имени великого поэта. На организацию библиотек президиум оренбургского горсовета отпустил 20 тыс. рублей. По предложению колхозников, присутствовавших на пленуме, сельсовет обратился к книготоргующим организациям с просьбой укомплектовать специальные библиотечки из произведений поэта, которые мог бы приобрести каждый колхозник“.

„В доме № 33 по Пушкинской улице в Одессе в квартире шофера Лысенко состоялось необычное собрание. Живущие на Пушкинской улице граждане Одессы собрались, чтобы почтить память Пушкина. В этом доме он жил, здесь он написал две главы „Евгения Онегина“. Собравшиеся прослушали доклад тов. Бабайцевой о жизни и творчестве великого поэта. После доклада состоялся концерт. Школьница Алла Бубликова, дочь моряка, прочла „Послание в Сибирь“.

„Пьесу народного артиста Дадзани „Пушкин в Грузии“ принял к постановке Грузинский орденоносный драматический театр им. Руставели“.

„Барельеф Пушкина на слоновой кости вырезали для парижской выставки холмогорские мастера резьбы по кости“.

„Вологодские кружевницы плетут свои кружева с рисунками на мотивы произведений Пушкина. Рисунок мастерицы Аверкиной изображает „У лукоморья дуб зеленый“.

„На адыгейском языке выходит сборник избранных произведений А. С. Пушкина в переводе поэта Ахмета Хаткова“.

„Колхозно-совхозный театр Крюпинского района, Сталинградского края, готовит к пушкинским дням „Каменного гостя“, „Мощарта и Сальери“ и „Скупого рыцаря“.

„Драматический кружок в образцовой средней школе им. Молотова в Краснозаводске готовит к пушкинским дням отрывки из „Евгения Онегина“ и „Пиковой дамы“.

„Великолукский окружной совхозно-колхозный театр Калининской области в пушкинские дни покажет пять картин из „Бориса Годунова“.

Эти разнообразные факты взяты нами без специального выбора из двух-трех одновременных газет. Как ни различны эти факты по содержанию, по объему, по широте охвата, — все они вместе и каждый в отдельности самым убедительным образом подтверждают, что пушкинские дни 1937 года явятся подлинным всенародным празднеством, что наступающий пушкинский юбилей не есть нечто искусственное, внедряемое сверху, а нечто органически вытекающее из самого существа советского строя, хранителя культурного наследия прошлого.

В свете этой кипучей, творческой подготовки небезынтересно оглянуться назад, посмотреть, как отмечались пушкинские годовщины до революции, какими идейными тенденциями были они проникнуты, какой общественный резонанс получали и что нового и плодотворного внесли в изучение Пушкина. Речь поведем о трех Пушкинских юбилеях — открытии памятника в Москве (1880), пятидесятилетия со дня смерти (1887) и столетия со дня рождения поэта (1899).

II

Мысль о памятнике А. С. Пушкину зародилась довольно рано: как вспоминал впоследствии Я. К. Грот, она „в первый раз была пущена в ход из среды бывших воспитанников царскосельского лицея и по поводу приготовлений, в 1860 г., к празднованию пятидесятилетнего юбилея его, причем место будущему монументу предназначено было в Царском Селе, в саду, некогда принадлежавшем лицее“.¹ Вместе с тем, предполагаемая постройка памятника должна была приблизительно совпасть с 25-летием смерти великого поэта.

Несмотря, однако, на успех этого первоначального предположения (сбор пожертвований на памятник, по словам того же Грота, „в немногие годы доставили 13 359 руб.“), оно не было тогда же доведено до полной своей реализации по причинам, не вполне в настоящее время ясным. Повидимому, соединение открытия памятника с юбилейным торжеством лицея было сочтено неуместным: в „высоких сферах“ имя поэта продолжало быть на подозрении и какое бы то ни было увековечение его памяти почиталось чуть ли не профанацией русской литературы. С другой стороны, и большого общественного резонанса это предприятие не могло бы вызвать, так как незадолго перед тем, по ходатайству наследников Пушкина, царское правительство установило, что „двадцатипятилетний срок пользования умственным достоянием умерших авторов, назначенный для их семейств или родственников, слишком краток“ и „недостаточно обеспечивает их положение“, и решило „продолжить срок литературной и сходной с нею художественной и музыкальной

собственности до пятидесяти лет со дня смерти автора². Между тем, дороговизна существовавших собраний сочинений Пушкина³ являлась громаднейшим препятствием для распространения произведений поэта среди массы читателей и, таким образом, существенно ограничивала его популярность.

Неудивительно, что, по словам того же Я. К. Грота, „приток пожертвований стал оскудевать и вскоре совершенно прекратился“. Лишь в начале 70-х годов дело с памятником Пушкину снова выплыло из небытия: был возобновлен сбор пожертвований, определено место будущего монумента — Москва (сооружать его в Петербурге рядом с многочисленными памятниками различным „царствующим особам“ попрежнему считалось в правительственных кругах зазорным), проведен ряд необходимых предварительных процедур.

5—8 июня 1880 года состоялось торжественное открытие памятника.

В продолжение четырех дней перед его участниками выступили почти все (за исключением Л. Н. Толстого) русские писатели, выступали притом с речами, содержание которых в большинстве перерастало тему прославления Пушкина и затрагивало многие более широкие и существенные вопросы общественного самосознания, культуры и т. д. „Каждый из ораторов на празднестве, — писал современник, — выражал особое пожелание, но все сходились в одном, что настоящее торжество должно явиться „радостным благовестом нашего мужающего, наконец, самосознания“, что в лице Пушкина чествуется русская народность и просвещение, „примирение прошлого с настоящим“⁴. Понять эти слова можно только, припомнив, что середина 1880 года является расцветом правительственного „либерализма“, роста либеральных чаяний, утвердившихся с назначением Лорис-Меликова министром внутренних дел и фактическим диктатором. Прекраснодушный российский либерализм склонен был усматривать в этом назначении какие-то уступки правительства в сторону созыва земского собора, в сторону конституции, уступки лишь воображаемые, „...ибо не только никаких решительных шагов, но даже и никаких положительных и недопускавших перетолкования заявлений не было сделано“. Лорис-Меликов созвал редакторов петербургских периодических изданий и изложил им „программу“: „дознать желание, нужды и пр. населения, дать возможность земству и пр. воспользоваться законными правами (либеральная программа гарантирует земствам те „права“, которые закон у них систематически урезывает!) и т. п.“⁵ Но даже такие ни к чему не обязывающие шаги правительства оказались вполне достаточными для того, чтобы пышным цветом распустились и расцвели надежды либеральной интеллигенции. И Пушкинский праздник — совершенно неожиданно для самих устроителей его — оказался громкой манифестацией этих цветущих надежд.

Поэтому-то современник настойчиво подчеркивает, что на торжестве открытия памятника Пушкину „общественное желание впервые развернулось у нас на безусловно законной почве — в безусловно законных, безукоризненно законных пределах, с такою широкою свободою. Съехавшиеся чувствовали себя полноправными гражданами, впервые вкушавшими сладость блестяще обставленного исполнения святого, гражданского долга“⁶. Эта пышная тирада и в особенности подчеркнутые мною слова в конце концов имеют в виду не Пушкина, не великого националь-

ного поэта, но сюсюкающее кокетничанье собственным гражданским геройством, самовлюбленное восхищение своими сомнительными гражданскими доблестями. И в настоящее время, говоря о Пушкинских днях 1880 года, мы должны внести существенные оговорки в традиционное умиленно-аллилуйское их описание и характеристики, образцом которых может быть следующая цитата:

„Дни празднования торжественного открытия памятника А. С. Пушкину запишутся неизгладимыми чертами в истории русской литературы. Это дни святого восторга, вдохновенного трепета, охватившего русскую интеллигенцию перед чистым образом своего гения, которому впервые удалось проложить новые пути к укреплению и свободному развитию нашей общественной мысли. Память великого поэта пробудила в нас спавшую энергию; она сблизила все мыслящее общество в одном свободном влечении — вне всякой опеки воскресить те высокие идеалы, какие завещаны нам великим поэтом и до сих пор заслонялись от общественного внимания. Все „партии“ и тенденции, всякая рознь, все „задние мысли“ неминуемо отошли в сторону, хотя бы уже потому, что с светлой памятью Пушкина не могло вязаться мрачное слово злобы и мщенья. Оттого и на празднествах в честь Пушкина раздавалось только утешительное слово мира и братской любви“.⁷

В действительности ни „мира и братской любви“, ни какого-либо единства все же не получилось, как не получилось и „всенародного праздника“, на который рассчитывали устроители. Те 101 депутация с 244 депутатами, которые съехались в Москву, конечно, не могли претендовать на представительство всей России, как бы скудна культурными учреждениями и общественными организациями она ни была. Об отсутствии единодушия среди участников торжеств говорили сами выступавшие (например, И. С. Тургенев), несмотря на то, что состав участников подбирался весьма тщательно и внимательно из представителей умеренного либерализма: на торжестве отсутствовали демократы, но, с другой стороны, не были приглашены и крайние реакционеры, вроде Каткова, принявшего, впрочем, участие в празднестве и без приглашения. Что же касается атмосферы мира и братской любви, о которой упоминает современник в приведенной выше цитате, то ее как нельзя лучше характеризует ряд инцидентов, разыгравшихся частью на самом торжестве, частью тотчас после него; о них будет речь дальше.

Мы не будем останавливаться здесь на описании самого торжества открытия памятника; после ряда отсрочек оно было назначено на 26 мая 1880 года, в годовщину рождения поэта. В этот день предполагалось устроить в Москве торжественный обед, на который должны были собраться литераторы и депутаты от учреждений и обществ. Впоследствии, однако, программа празднества была расширена, в организацию его вмешалась московская городская дума, университет, Общество любителей российской словесности; а к первоначально намеченному торжественному обеду присоединилось еще несколько торжественных собраний и приемов с речами писателей, публицистов, ученых и т. д. Эти-то собрания и речи на них стали в центре празднования, несколько раз откладываявшегося из-за смерти Марии Александровны (жены Александра II) и, наконец, состоявшегося 6—8 июня 1880 г.

Пушкинское торжество совпало с „новым“ курсом российской правительственной политики и должно было явиться демонстрацией общественного подъема, в легальных „законных“ его формах. Едва ли не впервые в истории русской общественности писатели и публицисты выступали не от своего только имени, но как представители „партий“, как представители каких-то идейных течений. Нам известно, например, как тщательно выработывал текст своей речи Тургенев, согласовывая его со своими единомышленниками, в первую очередь с редакцией „Вестника Европы“. 28 мая 1880 года он писал М. М. Стасюлевичу: „Великое спасибо за присланную „Речь“ и за сокращения, которые приняты мною обеими руками. Другой, конечно, редакции не будет!“⁸ В расчете на партийный характер выступления Тургенева заострял свою речь и Ф. М. Достоевский, жаловавшийся жене в одном из своих писем на то, что „враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности; отрицая самую народность“.⁹ Нечего и говорить, что насквозь проникнутыми „партийностью“ были выступления присяжных политических деятелей И. С. Аксакова и М. Н. Каткова.¹⁰

Центральным местом торжеств были речи Тургенева и Достоевского, в особенности вторая.

Тургенев (речь его была произнесена 7 июня 1880 года) посвятил свое слово определению „смысла и значения“ любви к Пушкину, реальным выражением которой явился сооруженный памятник. Не будем здесь излагать содержание речи;¹¹ предоставим слово записи одного из слушателей (Г. И. Успенского), не только записавшего самую речь, но и отметившего реакции аудитории на нее, что для нас в данном случае особенно интересно:

„Особенное внимание публики к речи И. С. Тургенева было возбуждено теми ее местами, которые касались, во-первых, объяснения охлаждения общественного внимания к творениям Пушкина, и, во-вторых, нового возбуждения этого внимания в настоящее время. Не в суде глупца, — сказал оратор, — и не в смехе толпы холодной было дело, то-есть заключалась причина охлаждения; причины лежали глубже; они были неизбежны и лежали в историческом развитии общества, в условиях весьма многосложных, при которых зарождалась новая жизнь, начинавшая вступать из литературной эпохи в эпоху политической, общественной заботы и деятельности. Забвение поэта произошло от того, что возникли неожиданные, но законные и неотразимые потребности, явились запросы, на которые нельзя было не дать ответа. Не до поэзии, не до искусства было тогда... (рукоплескания). Из храма, где поэт являлся жрецом, где еще горел священный огонь, но горел только на алтаре и сожигал только фимиам, люди пошли на шумное торжище... Поэт-эхо сменился поэтом-глашатаем: раздался голос поэта „мести и печали“, а за ним явились и пошли другие, пошли сами и повели за собою нарастающее поколение. Многие в этом изменении задачи поэта видели просто упадок, „но мы, — сказал оратор, — позволим себе заметить, что падает, рушится только мертвое, неорганическое, живое изменяется органическим ростом, а Россия растет!“ (рукоплескания)“.¹²

Как вспоминал впоследствии А. Ф. Кони, „И. С. читал свое слово о Пушкине с большим одушевлением и чувством, и заключительные слова его о том, что должно настать время, когда на вопрос, кому поставлен только что открытый накануне памятник, простой русский человек ответит: „учителю!— снова вызвали бурную овацию. Три дня продолжались торжества и растроганное настроение так или иначе причастных к ним, причем главным живым героем этих торжеств являлся, по общему признанию, Тургенев“.¹³ Однако, другие современники отмечают холодный прием, каким была встречена речь Тургенева, объясняя это тем, что она была рассчитана „не столько на большую, сколько на избранную публику“, что „сказанное им было слишком тонко и умно, чтобы быть оцененным всеми“,¹⁴ либо, наконец, тем, что содержание ее не соответствовало „партийным“ взглядам слушателей, Н. Н. Страхов, например, упоминает, что „между литераторами поднялись оживленные толки о мыслях, высказанных в этой речи. Обнаружилось даже прямое желание как-нибудь возразить на нее и дополнить ее“.¹⁵ А по словам И. С. Аксакова, несмотря на „много уступок“ из „своего западничества“, сделанных в речи, говорил Тургенев „хоть и не совсем как автор „Дыма“, однакож дымом припахивало!“¹⁶

Идейным противовесом речи Тургенева, возражением на нее оказалась речь Ф. М. Достоевского, прочитанная в последний день торжеств, перед самым закрытием. Напряженная, наэлектризованная атмосфера, в которой протекали все заседания, страстное желание услышать „слово ново“, наконец, страстный нервный подъем, с каким Достоевский произнесил свое слово, — все это, вместе взятое, явилось причиной того совершенно исключительного впечатления, которое произвела речь на слушателей, того совершенно исключительного приема, какой был оказан писателю слушателями.

„Просто и внятно, без малейших отступлений и ненужных украшений, он сказал публике, что думает о Пушкине как выразителе стремлений, надежд и желаний той самой публики, которая слушает его сию минуту, в этой же зале. Он нашел возможным, так сказать, привести Пушкина в эту залу и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске. До Ф. М. Достоевского этого никто не делал, и вот главная причина необыкновенного успеха его речи“, — объяснял Г. И. Успенский.

Он же в упоминавшейся уже выше своей корреспонденции в „Отечественных записках“ следующим образом передавал содержание речи Достоевского:

„Пушкин как личность и как поэт есть самобытнейшее, велико-лепнейшее выражение всех свойств чисто-русского духа. Эта чисто-русская самобытность не покидала Пушкина даже в самом раннем периоде его деятельности, в период подражательности иностранным образцам. И тогда, по словам Достоевского, он уже не мог не перерабатывать сущность произведений иностранной литературы так, как того требовали чисто-русские, самобытные, народные свойства его души. Свято повинуюсь в своей литературной деятельности этим требованиям, Пушкин вместе с полнейшим и совершеннейшим

выражением души русского народа есть также и пророчество, то есть указание относительно предназначений этого народа в жизни всего человечества. Изучая Пушкина, можешь в совершенстве знать — что такое, какие сокровища заключает в себе душа русского человека, какими муками она томится, и в то же время можешь с точностью определить, на какую потребу, на какую задачу в жизни всего человечества нужны и предназначены эти природные русской натуре, русской душе качества. Это, по словам г. Достоевского, чисто-русские народные черты казались в Пушкине тем, что уже в самую раннюю пору своей деятельности он останавливается на типе страдальца, скитающегося по свету, не имеющего возможности успокоиться, удовлетвориться действительностью или чем-нибудь, какою-нибудь, хотя бы наилучшею частью ее явлений. Тип страдающего скитальца, тип, по словам г. Достоевского, также чисто русский, замечаемый уже в древнейший период русской жизни, существовавший во все последующие периоды ее, существующий и теперь, сию минуту, и который не исчезнет далеко в будущем; не находящий успокоения, мятущийся русский страдалец потому не может исчезнуть ни в настоящей русской жизни, ни тем паче в ее будущем, что для успокоения обуревающей его душу тоски нужно всемирное, всеобщее, всечеловеческое счастье. *„На меньшем он не помирится!“* (Безумные рукописания)⁴. „Мы не можем ручаться за то, что совершенно точно передали мысль первой половины речи г. Достоевского, — продолжал Г. И. Успенский, упомянув о конкретных литературных иллюстрациях, приведенных Достоевским в своей речи, — но мы положительно ручаемся за то, что *понята она и оценена была именно в том смысле, как нами изображено*. Может быть мы не так и не то рассказали, но почувствовалось, произвело сильное впечатление *именно* то самое, что у нас изображено.“¹⁷

Впечатление же было, судя по воспоминаниям присутствовавших, совершенно потрясающее:

„Когда Достоевский кончил, вся зала духовно была у ног его. Он победил, растрогал, увлек, примирил. Он доставил минуту счастья и наслаждения душе и эстетике. За эту-то минуту и не знали, как благодарить его. У мужчин были слезы на глазах, дамы рыдали от волнения, стон и гром оглашали воздух, группа словесников обнимала высокодаровитого писателя, и несколько молодых девушек спешили к нему с лавровым венком и увенчали его тут же, на эстраде, среди дошедших до своего апогея оваций. Было, между прочим, и то, что какой-то молодой человек из слушателей при последних словах Достоевского стремительно ринулся из залы, выбежал в боковую комнату и там упал в обморок. Человеческое слово не может претендовать на большую силу“.¹⁸

О том же писали и Успенский („тотчас по окончании речи г. Достоевский удостоился не то чтобы овации, прямо идолопоклонения“) и Аксаков. Последний признавался, что „никогда ничего подобного не видел“, что волнение „обхватило всех, как публику, так и нас, си-

девших на эстраде, даже отчасти и Тургенева (они друг друга терпеть не могут)". „Волнение было так сильно, что нужно было сделать длинный перерыв“. ¹⁹ Сам Достоевский в письме к жене с некоторою гордостью также упоминал, что „Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами, Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. „Вы гений, вы более, чем гений!“ говорили мне оба“. ²⁰

Через несколько дней, однако, речь Достоевского была опубликована, ²¹ и реакционно-мессианистские тенденции ее, не сглаживаемые более восторженным энтузиазмом непосредственных слушателей, настойчиво бросились в глаза и вызвали страшнейшее разочарование.

„Прочитав ее, и притом не один раз (она понятна не сразу), — писал Г. Успенский в постскриптуме к своим впечатлениям, озаглавленном „На другой день“, — мы нашли, что хотя в ней и есть слово в слово то самое, что передано нами, но что кроме этого в ней есть еще и нечто такое, что превращает ее в загадку, которую нет охоты разгадывать и которая сводит весь смысл речи почти на нуль. Дело в том, что г. Достоевский к всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества умудрился присовокупить 'великое множество соображений уже не всечеловеческого, а всезаячьего свойства'. ²²

Поспешил дезавуировать свои юбилейные восторги Тургенев, заявив в письме к М. М. Стасюлевичу, что „еще не закричал: ты победил, Галилеянин“ и, разъяснив своему корреспонденту, что „это очень умная, блестящая и хитро-искусная при всей своей страстности речь всецело покоится на фальши“. ²³ Началась длительная журнальная полемика с Достоевским, прекратившаяся лишь несколько месяцев спустя после смерти писателя.

Мы остановились на выступлениях Тургенева и Достоевского, так как именно они явились кульминационными моментами всего празднества, оказавшись в то же время и двумя идейными полюсами, притянувшими к себе, объединившими вокруг себя и тем самым разделив на два лагеря всех участников празднества. Невелик был диапазон между этими полюсами, — достаточно характерна в этом отношении та ошибка, в которую впал при слушании и оценке речи Достоевского даже такой сознательный демократ, как Глеб Успенский. Недаром М. Е. Салтыков (не присутствовавший на торжестве), прочтя его корреспонденцию, упрекал Успенского (в письме к Н. К. Михайловскому), что тот „не додумался до того, что и Достоевский, и Тургенев надувают публику и эксплуатируют пушкинский праздник в свою пользу“. ²⁴ Пусть сознательного и злого эксплуататора (издевательства) в данном случае со стороны названных писателей не было, — партийный характер праздника Салтыковым угадан правильно. Интересна в этом отношении и позиция демократической группы, объединявшейся журналом „Дело“. Отстранившись, как указывалось выше, от непосредственного участия в празднике, „Дело“ позднее выступило с резкой критикой его и, в частности, речи Достоевского. Пушкинский праздник, по мнению публициста „Дела“, был „повальным смещением языков и понятий, не без примеси некоторой доли умственного уродства; Достоевский же явился „героем и финалом

этого сумбура⁴, героем, севшим не в свои сани, „потому что для роли публициста у него недостает ни знаний, ни развития, ни политического образования, ни даже простого общественного такта“.²⁵

В конце концов даже при самом оптимистическом отношении к московскому празднеству организаторы его были вынуждены констатировать неудачу основной и наиболее существенной его цели — политического консолидации русской либеральной буржуазии с российской бюрократией.

„Праздник, — писал анонимный обозреватель „Вестника Европы“ (М. М. Стасюлевич? И. А.), — дал исход идеальным надеждам и ожиданиям, которым еще недавно не было никакого места в действительности; вражда и ненависть истощались, и, к удивлению, от людей, произносивших только проклятия и брань, слышались слова забвения прошедшего и примирения. Факт замечательный, и мы от души порадовались бы ему, если бы, к сожалению, еще слишком близкое прошлое и даже настоящее не были обильны фактами и указаниями, всего менее примирительными“.²⁶

Нечего и говорить, что все торжество, в сущности, ограничилось Москвой, опять-таки несмотря на все усилия устроителей придать ему всероссийский характер: правда, в Киеве, Одессе, Варшаве, Самаре, Туле, Риге, Пскове, Кишиневе, Орле, Тифлисе состоялись какие-то заседания, лекции, посвященные памяти Пушкина, но все они носили в большей или меньшей степени казенный характер и совсем уже проходили в безвоздушном бюрократическом пространстве, без какой бы то ни было общественной, творческой инициативы.

И даже выдвинутая впоследствии формула о том, что в Пушкинском празднике 1880 года поэта чествовали *писатели*, верна лишь с большими приближениями. Писатели, конечно, играли на празднике большую, пожалуй, ведущую роль; недаром А. Н. Островский говорил, что „на этом празднике каждый литератор должен быть оратором, обязан громко благодарить поэта за те сокровища, которые он завещал нам“. Однако и здесь необходимой полноты и единодушия не получилось. Отсутствовал М. Е. Салтыков-Щедрин, резко отказался участвовать в празднестве Л. Н. Толстой, заявив приглашавшему его Тургеневу, что затеваемое торжество — „одна только комедия“. И тот же Тургенев демонстративно отвернулся от протянутой к нему на торжественном обеде руки с бокалом Каткова, подчеркнув этим, что все разговоры о единодушии, мире и т. п. — только фразеология, ничего не изменяющая, ничего нового не дающая.

III

При всех отмеченных недостатках празднество 1880 года носило на себе отпечаток общественной инициативы, — в этом его несомненное и неотъемлемое достоинство, достоинство тем большее, что последующий Пушкинский юбилей, пятидесятилетие смерти поэта (1887 г.), был совершенно лишен какой-либо организационной, частной и общественной инициативы. Прекраснодушные либеральные мечты и надежды, питавшие Пушкинские дни 1880 года, окрашивавшие их сплошным розовым цветом, отцвели, не успевши распусться. То, что было позво-

лено „либералом“ Лорис-Меликовым, ни в коем случае не могло быть допущено Д. А. Толстым — щедринским Твердо он то, откровенно ненавидевшим и просвещение и литературу, считавшим ее лишь помехой в жизни „благополучных россиян“, российских обывателей.

Заблаговременно поэтому были запрещены специальными министерскими циркулярами всякие попытки отметить Пушкинскую годовщину какими-либо общественными мероприятиями: в день смерти великого поэта русского, — лицемерно говорилось в циркулярах, — больше приличествует молиться о нем, чем устраивать вечера и заседания его памяти, стремиться увековечивать ее какими-нибудь предприятиями, учреждениями и т. д. Даже университеты и специальные литературные общества (вроде, например, Общества любителей российской словесности) должны были испрашивать специальные разрешения на организацию торжественных собраний (с традиционными панихидами в начале), и, нужно сказать, разрешения эти давались неохотно и с трудом.

И все же юбилей 1887 года получил совершенно невероятный резонанс, притом неожиданный как для правительства, так и для забытой, почти безгласной общественности.

29 января 1887 года окончился, наконец, удлинненный, пятидесятилетний срок авторской давности на сочинения Пушкина, и сразу, в первые же дни, появилось несколько полных изданий Пушкина, заранее подготовленных к этому сроку, появилось громадное количество дешевых изданий отдельных произведений поэта.

„В два-три дня, — писал современник, — вышло сразу пять изданий Пушкина, всего по крайней мере до 40 тысяч экземпляров. За ними последовали еще и еще новые издания. В три месяца на книжном рынке появилось всего более 150 000 (может быть, и все 200 000) экземпляров собраний сочинений Пушкина в разных изданиях, и до сих пор число их все растет и растет. И это — кроме отдельных изданий Пушкина, экземпляры которых должны считаться миллионами. Все эти издания отлично раскупались и раскупаются“.²⁷

В настоящее время, пятьдесят лет спустя, при колоссально выросшем спросе на книгу, при возросшей потребности в ней эти цифры могут не произвести должного впечатления. Чтобы оценить их должным образом, нужно иметь в виду и разрозненность русского читателя 80-х годов в условиях полицейского произвола и гнета и количественную его ограниченность: ведь в конце концов этот русский читатель в подавляющем большинстве своем принадлежал городу, городской интеллигенции. А ведь выпущенные 29 января 1887 года сочинения Пушкина не только были расхвачаны: публика, узнавшая, что Суворин выпускает в этот день Пушкина в своей „Дешевой библиотеке“, общей ценою за полтора рубля (10 томов), дежурила у книжных лавок с вечера, и когда в магазине „Нового времени“ не хватило среди дня экземпляров издания, магазин был буквально разгромлен все прибывавшей толпой.

Да и позднее каждый новый тираж „дешевого Пушкина“ расхватывался в несколько дней. Для того чтобы добыть его, люди прибегали

к всевозможнейшим уловкам, хитростям, протекции. Весьма характерно в этом отношении письмо А. П. Чехова к Суворину 10 февраля 1887 года:

„Знакомые и незнакомые, преимущественно врачи и женщины, узнав, что я работаю у вас, обращаются ко мне с просьбами протезировать им в покупке Вашего Пушкина. Лиц, одолевающих меня письмами и карточками, записано у меня ровно сорок... В виде образчика посылаю подписной лист, присланный мне из клиника сахарьинским ординатором“.²⁸

Тускло и бесцветно был отмечен Пушкинский юбилей 1887 года среди тусклого и бесцветного безвременья; серыми и казенными докладами, лекциями и речами, традиционными панихидами поминалась память великого поэта. И вовсе нечем было бы помянуть этот юбилей, если бы не неожиданный, повторяю, успех его произведений, показавший воочию, что никакими рогатками не спрятать Пушкина, не изолировать его от массового читателя, беспрерывно и неуклонно растущего и предъявляющего все новые и большие требования и запросы. Совершенно правильную оценку *этого* факта мы находим в одной случайной книге, автор которой с полным основанием утверждает, что

„открытие памятника Пушкину в Москве, Петербурге и Одессе, со всеми речами, произносившимися по этому случаю, и газетными корреспонденциями, оповестившими об этих событиях всю Россию,— все это не способствовало столько прославлению великого поэта и распространению в обществе его художественных творений, как один день 29 января 1887 года, когда публика ломилась в книжные магазины, имея возможность за полтора рубля приобрести все сочинение Пушкина“.²⁹

IV

В третий раз имя Пушкина стало центром внимания в 1899—1900 гг. в связи с столетием рождения поэта. На сей раз в роли устроителей, организаторов юбилея выступало само правительство, стремившееся продемонстрировать единство в преклонении перед памятью великого, „народного“ поэта.

Любопытно при этом, что сама мысль о чествовании памяти Пушкина возникла не в среде самого правительства, но была подана извне: громадное „Дело“ о Пушкинском юбилее в архиве министерства народного просвещения (Ленинградское отделение Центрархива) начинается с запроса какого-то провинциального учителя, не предполагает ли попечительное начальство предпринять что-либо в связи с предстоящим юбилеем.

Специальными министерскими циркулярами и „предложениями“ организация юбилея поручалась всем школам, университетам, Академии Наук, таким же циркулярами и „предложениями“ возбуждалась инициатива местного самоуправления, земств и т. д. Академия Наук, с своей стороны, подчеркивала ту же мысль, что „чествование не следует ограничивать только в стенах Академии, но что оно должно быть устроено так, чтобы торжество возбудило живое сочувствие во всем русском образованном обществе и чтоб оно по возможности имело воспитательное значение для народа“.³⁰

В выработанной программе празднества почетное и видное место занимали „заупокойные литургии и панихиды“ как обязательные, так и предоставленные „доброму усердию духовенства“, затем шли торжественные заседания, выставка, пушкинские спектакли в театрах, „соответствующие торжества“ в учебных заведениях всех ведомств, „ряд чтений для народа с туманными картинами, заимствуя их из произведений А. С. Пушкина“, „устройство художественных празднеств“ „разрешенными от правительства частными обществами“. Специально к юбилею была выбита Пушкинская медаль и объявлен конкурс на составление торжественной кантаты; по „странной случайности“ одобренным оказался текст кантаты, представленный К. Р. (великим князем Константином Романовым).³¹

При всей своей обширности и бюрократической разработанности программа эта страдала одним существенным недостатком: она висела в воздухе, она никак не была согласована с теми, кому предназначалось быть ее непосредственными исполнителями, она никак не учитывала подлинных запросов тех, для кого она предназначалась. Не говорим уже о том, что широкое, всенародное торжество требовало какого-то соответствующего, торжественного настроения, общественного подъема, а между тем ни внешние, ни внутренние политические обстоятельства не могли этот подъем вызвать и поддержать. Весьма знаменательны в этом отношении рассуждения такого умеренного, осторожного журнала, как „Вестник Европы“:

„Никакого радостного возбуждения в русском обществе нет и быть не может,—писал журнал накануне юбилея,—этому мешает все пережитое им в последние месяцы и переживаемое до сих пор. Немыслимо душевное спокойствие, пока из неурожайных губерний приходят вести о постоянном усиливающемся народном бедствии, пока подлежит спору существование самого земства и земской школы и мирового суда и т. д. Единодушия нет ни в обществе, ни в печати, нет даже по отношению к чествованию памяти Пушкина“.³²

Отсюда — ужасающий разрыв между помпезными декларациями и казенными восторгами по поводу „всенародного“ праздника, в изобилии рассыпанными на страницах юбилейной литературы, и вопиющими проявлениями бюрократической ограниченности, невежества, элементарного неуважения к памяти чествуемого поэта, сведения о котором также можно почерпнуть с столбцов современной прессы.

„Чествовал память поэта цвет нашей ученой и литературной интеллигенции; чествовала ее обыкновенная средняя публика; чествовали учащие и учащиеся всех слоев; даже простой народной массы коснулись эти чествования“.³³

С другой — ряд поразительных фактов, из которых мы приведем здесь лишь некоторые. В Житомире к подножью памятника Пушкина был возложен венок с лаконической, но выразительной надписью: „От волынского дворянства — дворянину Пушкину“. В Сарапульской гимназии на Пушкинском „утре“ директор рассказал ученикам несколько анекдотов, как Пушкин и его лицейские товарищи писали ученические

сочинения, и „в виде комментария к этим анекдотам поведал детям, что Пушкин был очень болтлив и что его погубил „долгий язык“; ученики смеялись; это было „гвоздем“ Пушкинского утра“. В г. Майкопе некий протоиерей Соколов выступил перед учащимися (которых собралось свыше 1200 человек) с „словом“ о Пушкине, в котором, по сообщению газет, говорил следующее: „Знаете, кто был этот раб божий Александр? Это был поэт. Он всю жизнь свою пел песни и многие из них не нравственные, о которых сам потом жалел... Итак он пел песни, раб божий Александр. И вы, дети, воспитываетесь в школе на этих песнях, а между тем о многих из них он сам хотел, чтобы они канули в Лету. Только неучи, недоучки, недоросли могут приходить в восхищение от такой сказки, как сказка о работнике Балде. И эту сказку читают иные педагоги в школах. Только разве это педагоги? Это наемники, продажные, которых на порог школы не следует пускать. Пушкин родился христианином, жил не христианином, умер христианином... И разбойник на кресте покаялся и был прощен... Умер Пушкин христианином по желанию царя, который послал к нему священника. Помолимся же, дети, о рабе божием Александре; молитесь о нем постоянно и везде; он сильно нуждается в ваших чистых детских молитвах“.

Этот протоиерей Соколов отнюдь не был одинок в своих возмущениях против зловерной сказки „О попе и работнике Балде“:

„В Саратовской губернии, по распоряжению местного училищного начальства, из раздававшегося в виде наград оканчивающим успешно начальные и городские училища полного собрания сочинений Пушкина сказка эта была вырезана, а „начало и конец сказки, которые вырезать было нельзя без ущерба для других произведений, замазаны типографской краскою так, как это делается с забракованными цензурой местами в заграничных изданиях; вместо зловерной сказки „О попе и работнике Балде“ получилось грязное пятно на двух страницах произведений того самого писателя, по поводу юбилея которого официальными представителями просвещения сказано было столько хороших слов о воспитательном значении его творений, о свободе творчества и т. п.“.

Подобная цензорская самодеятельность была проявлена и в ряде других мест: в одном подвергалась произвольным сокращениям Пушкинская „Деревня“, причем, по словам самих операторов, выбрасывалось „все нехарактерное для Пушкина, всё легкомысленное и все неудачно выраженное“; в другом—не разрешались к постановке отрывки из „Бориса Годунова“, так как „в списке разрешенных к представлению пьес трагедия „Борис Годунов“ не значится“, и т. д.

Были, наконец, попытки и вовсе откреститься от юбилея. Начальство Екатеринбургской железной дороги категорически запретило служащим какую бы то ни было инициативу в деле чествования Пушкина на том основании, что

„г-н Пушкин никогда по министерству путей сообщения не служил и что чествовать так или иначе память его дело писателей, а не железнодорожных агентов“.

Серпуховская городская дума вынесла следующее „мудрое“ постановление:

„Ввиду того, что Пушкин ничего особенного для Серпухова не сделал, хатайство директора гимназии об учреждении в память Пушкина городского училища отклонить“.

Аналогичные постановления, с аналогичной мотивировкой вынесли и городские думы Перми, Воронежа, Вольска, Белгорода и т. д.

Не говорим уже о той волне пошлости, которая была вылита на Пушкина в различных докладах, речах, застольных „словах“ и т. п. Ведь даже в Петербурге нашелся оратор, считавший необходимым доказать, что „Пушкин не лишний не только для мечтателей, но и для деловых людей, которым в случаях утомления от занятий умеренный прием Пушкинской поэзии немедленно возвращает способность интересоваться гросс-бухом“. Можно себе представить, что говорилось и писалось в провинции...

Было бы, конечно, ошибочным на основании этих и подобных анекдотических фактов (повторяем, что нами приведена лишь незначительная часть их) характеризовать весь юбилей 1899 года. Думается, однако, в своей совокупности факты эти все же вносят нечто существенное в характеристику юбилея, подчеркивают отсутствие органической заинтересованности в нем у того самого общества, у того народа, к которому юбилей адресовался. И, конечно, правы те казенные летописцы юбилея, в роде, например, В. В. Сиповского,³⁴ которые стремились изобразить его как „показатель степени самосознания русского общества, которое не на помочах, а *самостоятельно* пошло приветствовать своего гения“. Гораздо больше правды было в утверждениях оппозиционных публицистов о „неудавшемся празднике“ и той неудовлетворенности, какую оставили в обществе Пушкинские торжества, о том, что самые празднества прошли вяло и неодушевленно, и т. д. Да в конце концов и сам В. Сиповский, возражая А. П. Пыпину, охарактеризовавшему Пушкинский юбилей 1899 года как праздник „педагогический“ (в противовес торжеству 1880 года, когда был праздник „литературный“), принужден констатировать как наиболее значительное достижение юбилея — его „академический“ характер: „солистами... давшими характер празднику, выступили... исследователи, авторы монографий и всевозможных этюдов по разным пушкинским вопросам“.³⁵

Неудача юбилея, обусловленная совершеннейшим равнодушием к нему как инициаторов и устроителей (т. е. правительства), так и общества, сказалась даже в некоторых практических мероприятиях, связанных с ним, и „в первую очередь на организованном при Академии Наук „Разряде изящной словесности“, посвященном памяти Пушкина. Об открытии разряда было возведено специальным царским указом, в котором заявлялось, что „вновь учреждаемый разряд должен составить одно целое с Отделением русского языка и словесности Академии Наук, образованным из Российской Академии, членом которой был Пушкин; на открываемые в сем Отделении новые должности академиков должны быть избираемы как писатели-художники, так равно ученые исследователи в области словесности“.³⁶ Однако, уже после юбилея последовали дополнительные разъяснения о разряде, по которым

устанавливалась новая категория почетных академиков, фактически не участвующих в работах Академии и не могущих как бы то ни было влиять на ход ее работ.

О впечатлении, произведенном этим разъяснением („добавлением“), очень ярко говорит письмо А. П. Чехова, интересовавшегося всем этим предприятием и агитировавшего за избрание в почетные академики К. С. Баранцевича и Н. К. Михайловского. „Добавление к указу, — писал Чехов А. С. Суворину 8 января 1900 г., — это точно Толстовское послесловие к Крейцеровой сонате. Академики сделали все, чтобы обезопасить себя от литераторов, общество которых шокирует их так же, как общество русских академиков шокировало немцев. Беллетристы могут быть только почетными академиками, а это ничего не значит, все равно, как почетный гражданин города Вязьмы или Череповца: ни жалованья, ни права голоса. Ловко обошли! В действительные академики будут избираться профессора, а в почетные академики те из писателей, которые не живут в Петербурге, те же, которые не могут бывать на заседаниях и ругаться с профессорами“.³⁷ И в другом письме: „Писателей-художников будут делать почетными академиками, обер-академиками, архи-академиками, но просто академиками — никогда или не скоро. Они никогда не введут в свой ковчег людей, которых они не знают и которым не верят“.³⁸ Скептическое отношение к разряду самого Чехова, также избранного почетным академиком, перешло в отношении резко отрицательное после известного инцидента с Горьким, закончившегося выходом из Академии и Чехова и Короленко.

На этом можно остановиться, прекратить наши исторические справки. Цапля их, мы имели в виду подчеркнуть громадную пропасть, отделяющую три дореволюционных юбилея Пушкина от того празднества; к которому готовятся народы Союза Советских Социалистических Республик. В свете прошлых неудачных потуг на яркость и „всенародность“ особенно ярким и значительным представляется то, о чем мы ежедневно узнаем из скупых и коротких газетных сообщений. Не узко-кастовый „литературный“ праздник, не казенная, навязываемая сверху народность и торжественность, но подлинно народное (и всенародное!) торжество предстоит нам. И печальный по существу своему день смерти великого поэта явится великим культурным праздником трудящихся, единственных и настоящих наследников культуры прошлого.

ПРИМЕЧАНИЯ



1. Я. К. Грот. Исторический очерк сооружения памятника А. С. Пушкина. Труды Я. К. Грота, т. III, СПб., 1901, стр. 163.
2. С. А. Переселенков. Пушкин в истории законоположений об авторском праве в России, СПб., 1909, стр. 6, 9, 3.
3. От первого посмертного издания наследники должны были получить дохода около 25 000 рублей, да примерно такую же сумму от издания Анянкова (Переселенков, стр. 6; „Пушкин и его современники“, вып. VIII, стр. 79—71).
4. Ф. Булгаков. Венок на памятнике Пушкину. СПб., 1880, стр. 14—15.
5. В. И. Ленин. Гонители земства и Аннибалы либерализма. Сочинения, 3-е изд., т. IV, стр. 135.
6. „Венок на памятнике Пушкину“, стр. 14.
7. Там же, стр. 13.
8. „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке“, т. IV, СПб., 1912, стр. 183.
9. „Письма Ф. М. Достоевского к жене“. М., 1926,

стр. 290. 10. Последний, как указывалось выше, не получил приглашения на торжество от организаторов его, но присутствовал и выступал на нем как представитель Московской городской думы. О его речи даже сочувственно настроенный И. С. Аксаков заметил. „qu'il plaide sa propre cause“ (то-есть что он имеет в виду самого себя). См. „Русский архив“ 1891, № 5, стр. 93. 11. См., например, И. С. Тургенев. Сочинения, т. XII. ГИХЛ, 1933 г., стр. 226—233. 12. Г. У. Пушкинский праздник (Письмо из Москвы), „Отечественные записки“, 1880, № 6, стр. 190—191. 13. А. Ф. Ко ни. На жизненном пути, т. II, М., 1916, стр. 97—98. 14. „Минувшие годы“, 1906, № 8, стр. 13. 15. „Биография, письма и заметки из записных книжек Ф. М. Достоевского“, СПб., 1883, стр. 304. 16. „Русский архив“, 1891, № 5, стр. 95. 17. Г. У. Пушкинский праздник (Письмо из Москвы), „Отечественные записки“, 1880, № 6. 18. „Венок на памятнике Пушкину“. СПб., 1881, стр. 61. 19. „Письмо И. С. Аксакова о Московских праздниках по поводу открытия памятника Пушкину“, „Русский архив“, 1891, № 5, стр. 96—97. 20. „Письма Ф. М. Достоевского к жене“, М., 1926, стр. 304. 21. „Московские ведомости“, 1880, № 162. 22. Г. У. Пушкинский праздник (Письмо из Москвы), „Отечественные записки“, 1880, № 6. 23. „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке“, т. III, СПб., 1912, стр. 185. 24. М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма, Лгр., 1924, стр. 179. 25. Г. Н. Романист, попавший не в свои сани, „Дело“, 1880, № 9, стр. 159—169. 26. „С Пушкинского праздника 5—8 июня“, „Вестник Европы“, 1880, № 7, стр. XXIX—XXV. 27. В. Е. Якушкин. Сочинения Пушкина в 1887 г., О Пушкине, М., 1899, стр. 121. 28. „Письма А. П. Чехова“, т. I, М., 1912, стр. 263. 29. Я. Канторович. Литературная собственность. СПб., 1899, стр. 47. 30. „Чествование памяти А. С. Пушкина Академией Наук в сотую годовщину дня его рождения“, СПб., 1900, стр. 1, 31. Там же, стр. 5—7. 32. „Вестник Европы“, 1899, № 6. 33. А. М. Лобода. Очерк пушкинской юбилейной литературы, Киев, 1900, стр. 3. 34. В. Сиповский. Пушкинская юбилейная литература 1899—1900. Критико-библиографический обзор. СПб., 1902 (см. в особенности гл. I: „Чествование столетнего юбилея со дня рождения А. С. Пушкина“). 35. Там же, стр. 3. 36. „Чествование памяти А. С. Пушкина Академией Наук в сотую годовщину со дня его рождения“, СПб., стр. 13. 37. „Письма А. П. Чехова“, т. VI, М., 1916, стр. 5—6. 38. Там же, стр. 20.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕНИК

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
Ж У Р Н А Л

Я Н В А Р Ь • 1 9 3 7

1

ЛЕНИНГРАД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“